

5

Но что же такое это достоинство?

Гордыня? Так это грех. А достоинство — вовсе не грех, наоборот, какое-то преимущество, что ли. Уважение самого себя, может быть? Жесткое к себе отношение. Не можешь чего-то сделать — отойди, даже отступи, но с этим самым — с достоинством. И переносить всякие сложности тоже надо с ним. Не сдаваться, не унижаться, а одолевать, не жалуюсь, — это и есть достоинство.

Но проще иных всяких зол достоинство поражает голод. Я хорошо помнил еще недавнее в ту пору собственное детство и маленьких шакалов из восьмой столовки, которые, несмотря на теток у входа, проникали туда, присаживались за стол к тебе и просили: «Мальчик, оставь!» И я оставлял немного супа или полкотлеты. И хотя по летам своим я еще много чего не понимал и не знал, что значит слово «достоинство», а без всяких объяснений жалел человека за то, что он унижается. Из-за голода.

Теперь я знал про достоинство. Однако оно плохо вато помогало.

Перевода от мамы все не было, и я стал занимать. Сначала по десятке. Как и мои дружки, у девчонок. Потом занял полста. Это была большая такая денга,

целый лист, полностью закрывавший ладонь, зелено-го цвета ассигнация с Лениным на фасаде. Ухитрился растянуть на целую неделю.

Спросите, почему домой не позвонил? Да просто потому, что телефонов тогда почти не было. Чтобы услышать живой голос, требовалось пойти все на тот же главпочтамт, в зал междугородних переговоров, и делать это надо было дня за три, оплачивать заказ, чтобы там, дома, на такой же почтамт вызвали маму. Это сколько же беготни и беспокойства, а главное, мама бы изволновалась до слез за эти дни до разговора: что такое случилось со мной, может, какая беда?

И, ясное дело, я не звонил, даже думать об этом не думал. Терпел.

А тетя Дуся все разглядывала меня. По крайней мере, мне так казалось. Я вежливо здоровался, когда доходила очередь до меня, и, не глядя в меню, а только в ее лицо, весело произносил:

— Щи, котлета, чай!

Она обязательно спрашивала в ответ:

— А какой гарнир? — ясное дело, к котлете.

И тут уж я чередовал: капуста, гречка, пюре. Она называла цену, я протягивал деньги, вежливо благодарил, уходил к раздаче. И в эти мгновения, повторявшиеся каждый день целых пять лет, я навсегда, оказывается, вписывал в свою память тети-Дусино лицо.

Она не была старой, совсем нет. Ей еще пятидесяти не исполнилось, это наверняка. Лицо круглое, простое, глаза серые, спокойные, волосы тоже серые, вот губки она всегда подкрашивала, и эти губки немножко меняли цветовую гамму. Обыкновенное русское лицо, иными словами, без особых примет. Только вот улыбочивое было лицо у тети Дуси. Она всем улыбалась. Улыбалась всегда, выполняя вроде совсем простецкую эту работу: пробивала чеки, брала деньги, что-то спрашивала совсем незначительное, ей отвечали.

Уж потом, позже, я спрашивал себя не раз: а не надоедали ли ей эти наши повторяющиеся каждый божий день физиономии все с теми же почти одинаковыми словами: суп, щи, борщ, котлета? И понимал каким-то странным образом: нет, не надоедали. Напротив, тетя Дуся не смотрела на нас, а рассматривала. Она как будто вглядывалась в лица этой бесконечной и каждый день повторяющейся очереди. И не уставала нас запоминать. И что-то про нас думать. Про каждого.

Улыбаясь и вглядываясь, она тем не менее ловко нажимала на кнопки своей кассы, принимала деньги, сдавала сдачу, но это происходило как бы механически. Помимо ее внимательного, доброго, запоминающего взгляда и улыбки, не сходящей с лица.

Что же касается меня, то, наверное, все дело было как раз в этой тети-Дусиной наблюдательности. Не то чтобы я был вечно веселым дурачком, вовсе нет. Проходил я и мрачные испытания, связанные почему-то с необязательными вещами. Кошки, случалось, скребли на душе почему зря! Но все-таки в целом я глядел на мир более чем радужно! Мне все время хотелось говорить и улыбаться. А если не говорить, то улыбаться все равно! И тетя Дуся улыбалась тоже.

Вполне могу предположить, что она улыбалась из вежливости и доброжелательства. А я от переизбытка щенячьей радости. Мне все виделось внове, казались преодолимыми любые неприятности, а впереди, где-то там, пока еще за высокими горами, виделась радостная взрослая жизнь. Вот, наверное, улыбочивая женщина и разглядела в улыбочивом студентике эту наивную радость, которой все нипочем, даже голодуха.

И вот в один прекрасный день, когда, отстав от остальных, а может, напротив, всех их опередив, я подошел к кассе и дошел до ручки. Пробыл, улыбаясь, два сладких чая по десять копеек. Но тут тетя Дуся, тоже улыбаясь, сказал мне:

— Да что вы! Вам надо поесть! Пробейте что хотите, а потом отдадите! Со стипендии. Я запишу, что вы мне должны.

И я сказал ей свою фамилию, которая, оказывается, ей была откуда-то и так известна, и она вписала ее в чи-

стую тетрадочку, появившуюся из-под кассы, вместе с суммой, на которую был пробит чек.

Боже! Я не знал, что подумать. Пообедав, хотел снова подойти к ней, но никакого разговора не получилось, потому что перед кассой стояла очередь едоков, сосредоточенных на содержимом своих неглубоких карманов. Так что я просто поклонился ей, улыбнулся и прижал руку к сердцу.

Она махнула на меня рукой.

6

Вот таким образом, в кредит, я поел еще дня три на глазах у всего моего пораженного приятельства. Впрочем, это слово — кредит — было совершенно незнакомо моим поколением. Разобраться как следует, что кредит требует выплаты процентов, этакое выгодное кредитору дельце, мы и не пытались, и тут речь шла о простом долге. Еще проще: кормежке в долг.

Дня три тетя Дуся кормила меня в долг, помечая в своей тетрадочке дату и сумму, а я, птенец желторотый, распушал перья. Научился брать в добавку к нормативу салатец, извини-подвинься: зеленый нарезанный лук с половинкой яйца вкрутую и со скромной ложечкой сметанки, настоящее объединение! Жизнь улыбалась, ей-богу, и мои дружачки стали поглядывать на меня с некой завистливостью, может, даже. Происходило непонятное: стипендию я не получаю, деньги из дома задерживаются, а я жирую как ни в чем не бывало.

И тут еще судьба со мной всерьез поговорила. На главпочтамте я получил от мамы сразу два послания: почтовый перевод аж на 450 рублей и короткое, но печальное письмецо: умерла моя бабушка по отцу, родители были заняты ее похоронами, и мама задержалась с переводом, извинялась теперь передо мной за свою нерасторопность. Бог ты мой! Да разве я не понимал! И не в деньгах дело, а в том, что бабушки больше нет! И хотя они с другой моей бабушкой — маминной мамой — не ладили, да и мама моя жила с этой бабушкой не в ладах, ее было жаль до слез, что со мной и случилось. Я читал письмо за массивным столом для посетителей большого зала главпочтамта, и губы мои тряслись, а соленые светлые градины непослушно катились из глаз.

На другой день, рассчитываясь с тетей Дусей, я, для себя неожиданно, в тот момент, когда она отсчитывала мне сдачу с полусотни, которую ей протянул, я спросил:

— Тетя Дуся, а пусть эта сдача у вас останется. Я и еще добавлю. Зато обед у меня гарантирован, правда?

Она задумалась на минутку, потом рассмеялась и ответила:

— Я буду у вас вроде как сберкасса?

Мне понравилось это выражение.

— Надежнее! — рассмеялся я.
И отдал тете Дусе еще сто рублей.

7

Из тех, из 450, мне предстояло рассчитаться за крышу над головой, а это минус двести, да сто пятьдесят в общей сложности я отдал на столовку. Что ж! Французская булка с хрустящим гребешком по спинке за 70 копеек, умноженная на два — утром и вечером, — да масло с сахаром, взятые впрок, обещали постоянство, даже некоторое успокоение — ведь ни о чем печалиться, как прежде, не приходилось. По крайней мере, жизнь пошла как-то ровнее. Несколько увереннее.

Тут уже пора рассказать про моих самых близких сподвижников по курсу, грядущей профессии и, конечно, питанию.

Один из них имел странное имя — Джурка Скок, но никак не соответствовал этому игривому звукосочетанию. Неясно, какой нации или породы, родом из Красноярска, он был улыбчив, круглолиц, внешне добродушен, играл на аккордеоне, который привез с собой на частную квартиру, и нередко брался поиграть чего-то расхожего нам с Бобой Виннером — тот шел на чистого филолога, был медалистом, и от моих забот оказался пока далек.

Джурка был высоким, достаточно массивным, а на груди первое время носил три медальки, означавшие его победы в стрелковом спорте. И еще он считался состоятельным. Я и сам не раз стрелял у него десятку-другую, разумеется, до стипешки, он ведь и стипешку получал, и батя его, или вернее-то, мать, отваливали ему по полтыщи в месяц, это кроме платы за жилье.

Материальный разрыв в две сотни для нас значил тогда очень много, хотя и не стоил очень-то дорого. Повторюсь — триста в месяц чистых только сдержанная еда, двести — жилье, а все, что сверху, — уже дикое барство.

Таким же примерно капиталом располагал еще один мой дружка — Минибай с Крайнего Севера, студенты откуда принимались по северным льготам и без учета баллов — только сдай. Вне конкурса. С Джуркой и Минибаем я сошелся сразу, неизвестно даже, по каким причинам. Просто ходили вместе, да и все.

С Джуркой же мы вместе рассчитывались за жилье с домовладелицей Анной Павловной, сокращенно — Анапой: каждого месяца первого числа вынь да положь эти 200 карбованцев за предстоящее житье, посуравей, чем в отелях новых времен, где рассчитываются не до, а после проживания. Но городина наш, уральский столп, был могуч и многообразен в проявлениях своих граждан, не очень-то заботясь о таких



мелочах, как благосостояние отдельных из них. Особо — беззащитных.

С Джуркой, как, впрочем, и с третьим, Бобой, мы вставали по утрам, умывались ледяной водой — о горячей и не мечтали! — из-под крана в каморочке для туалета размером метр на метр, брали у Анапы — единственная бесплатная радость! — чайник с кипятком, хлебали, обжигаясь, чай, заглатывая при этом вчерашнюю французскую булочку по 70 копеек штука, намазав ее при этом еще и легким слоем масла.

Жизнь оживала! Боба, часто обгонявший нас, удалялся первым, и ему вознаграждалось за такую дисциплинированность: он успевал проехать три остановки в троллейбусе, втиснувшись вовнутрь. Мы же с Джуркой вечно отставали, а потому подгребали к остановке в самый что ни на есть час пик — ситуация по утрам менялась за минуты. Наладились со временем и вовсе не спешить. А взбираться на задний буфер троллейбуса и катить, уцепившись одной рукой за сооружение наподобие лесенки, достигая сразу двух целей — не давились в этой забитой народом консервной банке, которая по ходу, бывало, даже приседала на правый бок, где особенно сгущалась масса тел, и сэкономили небольшие, но все же кровные средства.

В другой руке мы всегда держали небольшие чемоданчики. Это сейчас велик ассортимент подручных приспособлений для переноски студенческого барахла — и сумки ручные, и через плечо, и даже рюкзаки за спи-

ной — тогда бы, небось, подвиглись. А потому таскали чемоданчики: девчонки — совсем небольшие, сантиметров сорок на тридцать, а наш брат — чуть покрупнее. Входило туда, почитай, все что нужно: тетрадки с конспектами лекций, которые нам читали, некоторые учебники, нужные книжки, зачетки, даже булки, если надо, и бутерброды — народ посостоятельней.

И вот мы тряслись на буфере троллейбуса — одну остановку, другую, третью. Поначалу это было приятное удовольствие без всякого страха. Но троллейбусные власти услышали жалобы своих водителей, и на некоторых остановках появились ловцы. Ловцы безбилетных — это-то ладно и вполне понятно. Но тут явилось племя довольно длинноногих и тренированных мужиков молодого возраста, которые стали отлавливать буферников. Поэтому при подъезде к остановке было желательным выглянуть за бок троллейбуса — а вытянутой руки не хватало, и при замедлении хода спрыгнуть и рвануть в сторону, создав дистанцию между собой и ревнителями порядка.

Рука у Джурки была длиннее, он систематически высовывался из-за троллейбуса, обнаруживал или не обнаруживал ловцов, и мы всегда успевали вовремя освободить буфер.

Впрочем, бывали и другие положения. Иногда буфер был заполнен от края до края — на нем висела целая гроздь безбилетного студенческого люда, и я насобачился закидывать свой чемоданишко на крышу, разумеется, не отпуская его, а потом задрать ногу на лесенку, туда ведущую. Вот так, распластавшись, я трясся под дугами, рассыпавшими порой серьезные искры, вблизи высоковольтных проводов, а Джурка, размером меня побольше, туда забраться не решался. Но зато исправно шухерил, ограждая нас от поимки.

Все было ничего, если бы не зима и не грянувшие морозы. Уральская столица охлаждала нас градусами сорока, а то и более, но в университете занятия не отменялись, как в школе, и мы леденели — я на крутой и неприветливой троллейбусной крыше, а Джурка на буфере, пока не сходили в нужном нам месте. Откуда предстояло драпать еще три мерзлых и жестких квартала до университетского подъезда.

Смею утверждать, что поездки на троллейбусных буферах и на их крышах в декабре 1953 года сглаживали противоречия между людьми, сблизжали расхождения, соединяли в дружество, которому еще много испытаний предстояло пройти. Но в те дни и месяцы казалось совершенно ясным и определенным.

Так и было. Я рассказал Джурке Скоку про договор с тетей Дусей. И Минибаю рассказал. Не помню, кто и как, в какой последовательности и с каким отрывом друг от друга, но они вошли в тети-Дусин банковский

консорциум. Сперва поотваривались в кредит, а потом внесли первоначальные капиталы.

Но никто тогда и слыхом не слыхивал таких слов!

8

Зима на Урале в конце года смерти Сталина выдавалась пресуровая. Будто где-то на небесах нам прочили скорое будущее — в жестких, испытующих чертах. Или, если всерьез считать купол над головой небесной канцелярией, происходил там неведомый перерасчет баланса: что хорошо будет, а что и не очень.

С мороза мы вернулись в наш гуманитарный корпус и, минуя столик дежурной, неподалеку от входа, невольно улыбались. Не всегда, но часто там сидела худая бабушка в телогрейке, к которой была приколотая медаль партизана. Лицо ее состояло из одних морщин, глубоких, прихотливо переплетенных, совершенно неизгладимых, зато глаза, всегда остро сверкающие, прошивали нас своим бдительным вниманием. Иногда она требовала пояснений — кто и куда? — но не помню, чтобы заставляла предъявить документы. Мы сразу прозвали ее старухой Изергиль, про себя, конечно, ничего отрицательного не вкладывая в этот горьковский символ на охране университета его имени.

И вот в самые что ни на есть холода с улицы в аудиторию откуда-то приперся Джурка, ошпаренный морозом, и, оседлав стул, сказал, резко посерьезнев:

— Сейчас видел на улице афишу. Полное исполнение! Впервые в Советском Союзе! «Реквием» Моцарта! В филармонии!

Ну да! Мы приехали сюда учиться! Понятное дело, требовалось расширять кругозор! Но, ей-богу, «Реквием» даже самого Моцарта, о котором мы и узнать-то могли только из Пушкина, если очень сильно постараться, был так далек от того издевательского декабря.

Сидели-то мы кое-как одетые. Тихоокеанец Яков был родом с какого-то юга и замерзал даже здешним летом, а уж что толковать про ударные морозы. Мы тоже не изнывали от липкого пота, скорей, мурашки пробегали по остылым загривкам, нежели негата температурного равновесия.

Яков же первым и выразил свое отношение:

— Холодно! И вообще... Что такое реквием?

— Ну как! — ужаснулся Джурка. — Заупокойная месса! Молитва по усопшему!

Яков не растерялся, пошевелил плечами и сострил:

— Вот я и говорю — холодно! А ты предлагаешь совсем околочить!

Юмор, хотя и черноватый, подкинул несколько щепок в наши остывающие внутренности, но тут заявил себя Вовка Потников.

— Вы что, братцы? Сейчас у нас какой год на дворе? Пятьдесят третий кончается! Тысяча девятьсот! А Моцарт когда помер? Знаете?

Никто не знал, мы же не музыканты, в конце концов, и разве обязательно знать такие тонкости? Если к тому же не знаешь, когда он и родился-то! Да разве только он?

Джурка хоть и играл на аккордеоне, но безрезультатно морщил лоб, сумев все же очертить окрестности:

— Конец восемнадцатого века.

— Да мы щас в энциклопедии пошаримся! — попробовал поискать я выход.

— Вы что, братцы! — опять принялся корить нас Вовка. — Пушкина, что ли, не читали? «Моцарт и Сальери»! Или Есенина? Помните, Черный человек?

Про Пушкина укор был для нас стыдный, даже если мы лишь собирались приуготовиться к собственному предназначению, а Черный человек был всего двоим и известен-то — Потникову да Джурке.

И тут, вздохнув, подал голос Игорек Коробкин.

— Нет, — произнес он мягким голосом свое твердое решение. — Меня увольте. Нагляделся я черных чело­веков и похоронных маршей. Уж лучше полежу в обще­аге под одеялом. Или бы вот в баньку заскочить! В при­лочку!

И отважно разглядывая изумленные лица одних и согласные — других, утвердил:

— Не для нас это, ребятишки! Не для нашего призы­ву! Вот вы бы еще могли! Но и вам-то! Наша-то по­хоронная музыка! Наша-то собственная еще не утихла! Вспомните, что в марте было! И года не прошло!

Вот так и случаются разнообразные расколы. Яшка-моряк с Коробкиным совпал во мнении, Генка отбоярился отсутствием материальных возможностей, я искренне соблазнился какой-то скрытой таинствен­ностью события: полностью исполняется впервые! Не в Москве, а здесь, среди скал и льдов! Да и с Джуркой мы жили в одном частном доме. Минибай присоединил­ся за компанию, а Боба Виннер прямо-таки заколотился в восторге, узнав о грядущем концерте.

Готовясь к покупке билетов на «Реквием», мы про­штудировали статьи про Моцарта во всех трех энци­клопедиях, которые имели храбрость таиться в нашей благословенной университетской читалке, — две до­революционные — Брокгауза и Ефрона и Южакова, и одну советскую, тридцатых годов. Моцарт возносился почти в одинаковых выражениях, и почтительно там со­общалось, что реквием, то есть заупокойную мессу, он написал по заказу больного человека, а оказалось, что самому себе. Его жена по имени Констанца замети­ла, что Вольфганг Амадей — как имя-то звучит — пря­мо-таки заболел при сочинении столь печального со-

чинения, и даже отобрала у него партитуру, чтобы он пришел в себя. Но 20 ноября у него слег. А 5 декабря скон­чался! И это был 1792 год! Эвон какая даль!

Мы все-таки тянули, видно, резину, собираясь в кас­су филармонии, а еще точнее, нас сдерживал мороз, но все-таки уговор дорожке денег, и мы эти билеты ку­пили! Самые дешевые почему-то еще оставались, вот удивительно. И этот факт стал слегка понятен, только когда мы явились в концертный зал.

Это, конечно, было открытие! Как будто позади никакой войны! Расфуфыренные дамы, блистая огонь­ками в ушах и на грудях и разноцветных платьях, про­хаживались с мужчинами при непременных галстуках, а некоторые из них даже задирали подбородки, чтобы, наверное, лучше было видно их бабочки под самым кадыком, и среди этих мужских бабочек темно-бордо­вым цветком привлекала внимание стать нашего искус­ство­веда Бориса Васильевича, в сокращении — Бова! Вот он был не только званым, но и призванным на этот духовный пир!

Мы же четверо жались вдоль стенки, одетые в то, во что обрядили нас наши родители, отправляя в мир знаний и новых чувств, единственно Джурка ни к селу ни к городу надел почему-то украинскую рубашку-вы­шиванку. Она, конечно, расшитая красными нитками, бросалась в глаза, но заставляла и ежиться — ведь та­кие рубашки шьются без воротника, — и гляделась под Скоковым пиджаком словно какая-то ошибка. Но Джурка был среди нас единственным музыкантом.

Еще мы купили простенькие программки, в кото­рых подчеркивались достоинства полного исполнения «Реквиема» именно на Урале, и краткая история его написания, похожая на ту, что мы вычитали в энцикло­педии. Уселись почти в последнем ряду. А оглядев­шись, увидели, что рядом, и впереди, и позади, еще много таких же, вроде студентов, но и полно вполне взрослых и даже старых. В этих старых лицах свети­лась какая-то незнакомая порядочность, благородство даже. Какое-то благоговение, а вовсе не удивление, которое, наверное, выражали наши мордуленции, скорее, ожидание чего-то очень возвышенного. Даже радостного.

Вышли музыканты, дирижер, и весь зал встал, а эти наши соседи выглядели из-за затылков стоявших перед ними, высматривали кого-то и что-то, и у меня, грешника, мелькнуло, а уж не самого ли Вольфганга Амадея они надеются увидеть там, среди певцов боль­шого хора и музыкантов с блестящими трубами?

И вот тут вышел наш Бова, надо же! Все так же за­дирая подбородок над бордовой бабочкой-галстук­ом, даже, может быть, глядявываясь в потолок, а сквозь него и в небо, он снова, не сбываясь ни на одно словеч-

ко, будто по писаному, рассказал историю «Реквиема» и судьбу гениального Моцарта.

Потом он голову опустил и сказал не возвышенным, а уже обыкновенным голосом, что «Реквием» длится два часа, в перерывах между частями произведения аплодировать не следует, учитывая траурное значение заупокойной мессы, и через час нас ожидает перерыв.

Зал не ответил ему ни одним хлопком, просвещенный тут все-таки собрался народ. Только мы четверо между собой переглянулись, не посмея даже ухмыльнуться.

Но Бова не уходил.

Снова вскинув голову, он произнес пароль для посвященных:

— Интроит: «Вечный покой»!

— Фуга: «Господи, помилуй»!

— Хор: «День гнева»!

— Квартет — сопрано, альт, тенор, бас: «Страшный суд Господень»!

— Хор: «Царь потрясающего величия»!

— Квартет: «Вспомни, Иисусе Милосердный»!

— Хор: «Посрамление нечестивых».

И медленно, все так же взирая на потолок, удалился со сцены.

Я поежился, краем глаза осмотрел корешей. Всем, а не только мне, было не по себе. Со мной такого еще не происходило, ведь в церковь нам ходить за-прещалось, да разве в нашей церкви и бывают такие мессы? Я сразу, конечно, осадил себя, заметив, что музыка Моцарта, раз ее играют в Концертном зале, не вполне церковная, а уже что-то за ее пределами, потому что эта редкая музыка, не зря полностью исполняется впервые...

Но какой-то страх, какое-то вполне определенное смущение, требующее выбора, решимости, даже отваги, мелькнуло во мне. Я сообразил, что все эти колебания обозначают — да, непонятный страх.

Как я могу описать то исполнение «Реквиема»? Практически это невозможно.

Я только куда-то поднимался, потом падал, потом что-то и в самом деле, как, видать и Бова, возносило меня к потолку, и выше, выше, в морозное небо, которое теперь не имело образа места — уральское небо, а только образ действия — небо над нами, черное теперь, и не только потому, что стоит темный зимний вечер над послевоенным трудным городом, а потому, что туда, в небо, что-то отлетает, пока не наше с моими друзьями, но что-то бесконечно важное, и сему мы должны внимать, если хотим понять непонятное пока таинство жизни и таинство ее ухода.

Я еще подумал про себя нечто для меня заумное и мне не подходящее. Я подумал, что если литература, к

примеру, рождается на земле и среди людей, то музыка дается свыше, неведомо откуда, наверное, Богом. Вторым, возможно, следует признать дар художника — ведь научиться рисовать как следует невозможно. Это откуда-то приходит. Кому-то дается, а кому-то нет.

9

Музыка лилась, в ней возникали краткие паузы — между частями — играл оркестр, пел квартет из четырех голосов, которые пусть и сливались в непонятный русскому уху латинский текст, но были чем-то близки сердцу, и не только сжимали его страхом, но и открывали непонятную тайну, пропасть, ничто... Пел и хор, будто на чем-то настаивая и что-то подтверждая, порой столь громко, что, казалось, он заглушает оркестр. А потом, наоборот, отступая, стихая, теряя надежду, что ли.

И вдруг все оборвалось.

Молчание длилось мгновение, люди в первых рядах стали молча подниматься. Старушки возле нас промокали глаза платками. Одни мы сидели, вытаращив глаза, будто мелкая рыбешка, оказавшаяся на мелководье, не понимая, что будет дальше.

Наконец до нас дошло, что это антракт. И мы, неспешно, как все наше окружение, выбрались в фойе.

В первые минуты люди, выслушавшие половину «Реквиема», ходили молча. Постепенно голоса стали крепчать. И вдруг послышался, как мне показалось, крик. И окликали человека с моим именем — но не меня же, ведь я был здесь пришлый.

Все-таки я механически обернулся. Вот тебе на! Ко мне сквозь толпу пробирался Герман! Тот самый безрукий парень, которого тетя Лиза заставила проводить меня до остановки к университету.

Мы не виделись почти полгода, да и знал-то я его едва-едва, но он шел ко мне как к давнему знакомому, улыбался во весь рот, и будь у него руки, наверняка бы раскинул их, чтобы обнять меня. Но рукава были спрятаны в карманы пиджака, а обниматься тогда не было принято, и Герман просто приблизился ко мне и легонько боднул меня головой, так что мы поздоровались головами.

— А? — восклицал Герман. — Какое чудо! Великий, великий, великий Моцарт, а, ребята?

Герман был одет совершенно странным образом — явно нерусский, в клеточку костюм, а под ним рубашка с рюшечками и темно-синяя бабочка, как у самых избранных тут мужиков, вроде нашего Бовы. Этот вид можно было бы признать заморским, если бы такое выражение ходило в тогдашнем государстве. Где-то вдали, ясное дело, в столицах, через несколько лет явятся стилиги, но это еще только предстояло и на нашем строгом Урале и пока не взошло. Но Герман уже что-то значил!



— Понимаешь, — спросил он, обращаясь не только ко мне, но и ко всей нашей компании, — отчего я страдаю больше всего? У меня абсолютный музыкальный слух. А рук нет. И голоса Бог не дал!

Поразительный парень! Говорит о своих лишениях, но так, будто это для него радость! Мои содруги глядели на Германа как на какой-то розыгрыш. Может быть, даже мой, потому что недоуменные их взгляды касались и меня. А Герман не унимался.

— Что случилось, то прошло! — это он о себе кратко так отозвался, и тут же продолжил без перехода, обращаясь ко мне: — А я теперь, кроме английского, освоил немецкий. Буду полиглотом. На очереди испанши и итальянши! Так вот именно теперь я штудирую все, что можно узнать о Моцарте!

Он оглядел наше разностилье, но не удивился, а спросил:

— А вы знаете, как он умер?

— Его отравил Сальери, — ответил наш аккордеонист в вышиванке.

— А какая выгода в том Сальери?

— Зависть, ведь об этом и пишет Пушкин, — вставил свой веский аргумент Потников.

— Но Сальери, — сказал Герман, — был главный капельмейстер короля, его оперы — знаменитее моцартовских, он, не чета Моцарту, близок к власти, ему все доступно. Чему завидовать?

— О! — не согласился Вовка. — Завидовать гению могут и цари!

— Вопрос не закрыт! И не закроется никогда! — проговорил Герман каким-то вдруг затуманившимся голосом. — А Сальери сошел с ума. Имя его известно теперь только благодаря Моцарту.

И вдруг спел по латыни, похоже, из того, что мы только что слышали.

*Лакримоза диес илла,
Куа ресуржет экс фавилла.
Юдикантас хомо реус¹.*

¹ Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.

И тут же перевел.

— Полон слез тот день, Когда восстанет из праха,
Чтобы быть осужденным, человек.

Он снова боднул меня лбом и, уже отчаливая, воскликнул:

— Не забывай тетю Лизу! Заходи.

И скрылся в человеческом круговороте. Только тут я заметил, что за ним кинулись две девахи, стоявшие в некотором от нас отдалении. Рассматривать их времени не доставало, и я подумал — не очень точно, — что Герман похож на метеор с небольшим, в две девицы, хвостом, и надо, конечно, побывать у тети Лизы.

А то выходит как-то неблагоприятно.

10

Мы вышли из филармонии на мороз в сильной задумчивости, и шагов тридцать, быть может, прошагали в молчании, собираясь, наверное, с мыслями, а еще точнее — отыскивая их в собственном сознании и пытаюсь воссоединить с речью, со словами, которыми будет обозначено небывалое впечатление.

Но — и верно! — бытие определяет сознание. Мороз, давший себе волю с приближением ночи, продрал нас до костей за эти тридцать шагов, и мы, не сговариваясь и все так же молча, сперва прибавили шагу, а потом побежали к троллейбусной остановке, которая пребывала в значительном от филармонии удалении.

Когда мы подбежали, троллейбус медленно трогался, захлопнув двери, и мы вскочили на задний буфер, почему-то сохранившийся, к нашему удивлению. Больше того — случилось и почти чудо, которое мы тогда отчего-то не раскусили, а потом было и не до такой мелочи. А случилось вот что. Наверное, мы дружно, да и впятером-то — сильно, навалились на заднее троллейбусное стекло, и оно, окантованное перемерзлой резиновой прокладкой, неторопливо упало вовнутрь почти пустого троллейбуса. Мы дружно охнули, было бы логичней и безопасней прыгнуть с буфера, но, видно, благодатная музыка, только что наполнившая наши души, отвергала даже самую малую мерзость или просто неправильность, и мы проехали сколько-то метров в молчаливом онемении, а потом я вдруг полез в пустую амбразуру. Почему и зачем, объяснить совершенно невозможно и по сию пору. Но первое, что я сделал, — это аккуратно переложил выгнутое стекло на спаренное кресло впереди, потом двинулся к водителю. Это была женщина в берете, подвязанная сверху платком. Кабинка ее отделялась от салона, где-то в районе пола светилась розовая спираль нагревателя, я постучался. Он приоткрыла дверь, и в самой доброжелательной ин-

тонации я сообщил водительнице, что у машины провалилось заднее стекло.

Она даже не очень-то и глянула на меня. Кивнула согласнo и миролюбиво, объяснив:

— Резина мороза не выдерживает! — И помолчав, прибавила: — Довезу вас и сойду с линии.

Я обернулся назад и увидел, что все мои друзья уже в троллейбусе. Я плюхнулся рядом, улыбаясь:

— Нас довезут! Наверное, до круга, где все они паркуются.

Народ оживился. Мы говорили немного и ни о чем. Мороз выстудил окончательно и так-то стылый троллейбус. Едва сдерживались от трясушки, какой тут разговор. Потом вышли Минибай с Володькой — они обрелись в общаге. Потом наша троица. Выходили через переднюю дверь, кланялись шоферке, или как ее требовалось назвать. Она кивала, не придавая ровным счетом никакого значения нежданному происшествию.

Дома, отогревшись чаем, мы немного помолчали.

Скок вздыхал, Боба повторял: «Потрясающе! Потрясающе!» А я признался:

— Это не для нас! Мы, наверное, еще глупы!

Скок в очередной раз вздохнул, Боба вяло возразил, а еще через четверть часа все трое дрыхли, опаленные морозом и неведомыми звуками великой музыки.

Почему мы провалились в сон глубже, чем всегда? На это могла ответить только грядущая жизнь.

В ту ночь мороз свирепствовал зачем-то чрезмерно. Ворочался в стенах деревянных домов — слабое, видать, место человеческого обитания, — и нашу избенку, сверху-то городского вида, пару раз так потрянул в ту ночь, что нам показалось, будто в стену ударил какой-то заблудившийся с войны снаряд.

Мы проснулись, обменялись междометиями не вполне достойного звучания, повернулись на бок и вновь устремились в счастливое — по возрасту — царствие бога Морфея.

11

Однажды вечером, часу, пожалуй, в десятом, мы с Джуркой трусили из читалки в сторону дома со своими чемоданчиками уже от другой остановки — трамвайной. Проехать там было дешевле, а по вечерам — свободней, но идти пешком требовалось не три, а четыре квартала, зато мимо магазина.

В магазинчике этом стояла высоченная, под потолок, пирамида консервных банок с непонятным словом «Чатка». Их никогда никто не покупал, и они смотрелись таким скорее даже памятником чему-то нам неясному. Лишь немалые годы спустя окажется, что это камчатские крабы — необычайной ценности продукт, ко-

торый мы когда-то не ценили, а вот теперь жать не можем и только грезим картинками прошлого.

Это часто случается, увы. И не только по случаю крабов, но и вообще — миновавшей жизни. И так, из трамвая мы вышли в снежную бурю, заглянули в магазин, поудивлялись мысленно пирамиде «Чатки», взяли стандартные булочки, еще чего-то, более чем скромное, и отправились в сторону дома.

Ветер, будто злобный пес, сорвавшийся с цепи, не то чтобы валил с ног, но заставлял склоняться в его сторону, сек лицо, врвался под наши пальтеца.

Параллельно нашей дороге тянулись рельсы в трамвайный парк, и на них скопилось множество вагонов. Освещенные изнутри, но пустые и молчаливые, они казались какой-то неземной улицей, а происходящее с ними — большой аварией. У каких-то вагонов впереди, ближе к трампарку, все-таки взметывался снег, слышались голоса, слабо постукивали фанерные лопаты. Пути трамвайные от ворот парка расходились в разные стороны, и совсем недалеко от нашего дома нам предстояло их перейти.

Тут-то мы и столкнулись лоб в лоб с нашими сокурсниками. Это были Игорек Коробкин и Генка Шидрин. На них топорщились телогрейки, видать, казенные, а у шапок-ушанок опущенные уши, перевязанные у подбородка. Чистые эски!

В руках они держали скребки и отбивали ими лед, наростший на трамвайные рельсы.

— Э-э, ребята! — тормознули мы. — Вы чо тут?

Игорек и Генка остановили работу, приблизились к нам.

— Вишь, какая буря! — возмутился Игорек, будто это мы с Джуркой ее вызвали.

— До утра придется! — вздохнул Гена, флегматичный, в общем-то, человек.

— Ну-ка, дай! — отобрал у него скребок Джурка. И минут пять скреб рельсы, наклоняясь навстречу ветру.

Я держал его чемодан.

— Почему говоришь — до утра? — спросил я обоих ребят в рабочих одеяниях.

— Да мы тут подрабатываем! — хохотнул Игорек. — Стипехи-то — тью-тью! Не хватает! Вот по ночам и калымим. Через ночь.

— А утром — на лекцию? — спросил я.

— Ну да! — ответил шустрый Игорек.

— Да вот нынче невезуха! — прибавил Генка. — Метель зверская!

Из снега вынырнул Джурка. Весь вид его был какой-то смущенный.

— И сколько вам за это полагается? — спросил ребят.

— По сотне в месяц каждому в руки, — ответил Игорек.

— Вообще-то, бабья работа, — пояснил Гена, — да вот кто знает, что выкинут небеса?

Мы покивали, побрякали, удалились домой — было до него метров с полста. Запивая вечерние булочки горячим чаем, думали об одном и том же, хотя вслух этого и не произносили. А думали о том, что мы-то буржуи в сравнении с этими пацанами. Пришли к выводу, что и нам следует найти работу, но вряд ли такую. Надо бы что-то поближе к будущей профессии.

Между тем Игорек, соскребавший с рельсов наледь, не был никаким пацаном. Он отслужил в армии, захватил немного войны, но не на передовой, а как раз в тылу, на охране аэродромов. Позже выяснилось, что журналистику выбрал потому, что пописывал стишки, потом окажется, плохонькие, но их напечатали пару-тройку раз в какой-то авиационной газете, и кто-то насоветовал ему отправиться в гуманитарии, на газетное дело, тем более что солдаты прошедшей войны зачислялись вне конкурса.

Он был невысок ростом, щупловат и лысоват, но всегда весел, даже жизнерадостен, готовый преодолеть любые тяготы.

Вот таким вот и встретился он мне наутро, шустр и бодр, и с ходу попросил десяточку до стипешки. Я любопытствовал, как прошла ночь, и он весело сообщил, что пришли они под утро, но уже выспались и полны сил. Рядом стоял Генка. Этот был нашего поколения, волосы имел совершенно пшеничные, а еще отчего-то всегда красное, будто загорелое, лицо — все внешние признаки здоровья.

Однако, в отличие от Коробкина, был мрачен.

— Пожрать бы! — сказал он устало.

Основные денежные резервы, как было сказано раньше, я передал в счет будущих платежей тете Дусе, и единственное, чем мог помочь, так повести ребят к ней и попросить ее пробить им чеки на еду в счет сокращения моего баланса. Я так и поступил. Махнул им рукой, мол, следуйте за мной, и подошел к тете Дусе для изложения просьбы. Поняв мою сбивчивую речь, она спросила меня:

— Где они?

Я указал рукой за свою спину. Двое моих протеже вежливо ей улыбались, да и вообще их лица были ей, конечно же, знакомы.

— Пусть подойдут, — спокойно сказала она мне. И утешила: — А вы не беспокойтесь.

Она достала из-под кассового аппарата свою тетрадку, Коробкин и Шидрин продиктовали ей свои фамилии, пробили чеки и расположились со мной за столом. Подвалили Скок и Минибай.

За едой Коробкин проговорил задумчиво:

— Вот кастрюлю надо купить с полочки!

— Кастрюлю? — удивился кто-то.

И шустрый Игорек поведал, что они с Генкой на обед варят вермишель в казенном чайнике. А это не больно-то удобно. Не дай бог, комендантша увидит! А в кастрюле — вполне цивилизованно, можно наварить, на подоконник выставить, утром разогреть.

Снова заговорили о студенческих балансах, и выяснилось, что, оказывается, весовая вермишель и есть самая дешевая и сытная жратва, если нет денег. Век живи, век учись!

Из столовки выходили веселые и сытые. Конечно, тете Дусе спасибо каждый отвесить не забыл. Она мельком улыбнулась, сверкнула губками в серой своей каске и принялась за свое — к ней очередь стояла.

12

Но на самом деле самые простые подробности жизни занимали нас не в шутку. Не хватало денег до стипендии даже у нас, обозванных благополучными. Не хватало денег тем, у кого не было родственной поддержки, даже нашим старослужащим, и образование выходило как бы боком. К тому же почти никто не знал, как поучится дальше. Ну, поедем работать в газеты. А если — в районные? Там же платят гроши! При нашей нынешней стипендке в 220 на свободе и с дипломом может светить, к примеру, 600, а то и 800, как слышится в коридорах. И что далее?

Угнетала ли перспектива? Да нет! Молодые всегда верят в удачу, а старожилы прошли испытания и утешали сами себя: «Прорвемся! А жить экономно — высшая благодать!»

Стремление к такой благодати довело меня, можно сказать, до сраму!

Дело в том, что наша Анапа, согласно ею же предложенной услуге, раз в десять дней меняла нам постельное белье, и это входило в стоимость проживания — те самые 200 рэ.

Но если желаешь, чтобы тебя еще обстирали, гони рубль за единицу белья. Рубашка — рубль, и трусы — рубль. Ну, это еще куда ни шло. Но рубль же следовало платить и за пару носок, и сюда не входит штопка дырок, если они есть — за это особо, и за носовой платок — рубль.

Это возмущало. И без конца обдумывая вопросы личной экономии, я однажды создал некое экономическое изобретение. Утром, когда мои соседи ринулись на учебу, насев, как куры, на троллейбусный шесток, я сказался нездоровым и от лекций уклонился. Однако с небольшим отставанием поднялся, оделся и собрал все свое грязное белье, скопленное уже давненько. Все это легко поместилось в чемоданчик, и я двинул в

городскую баню — привычное место, где мы угревались каждonedельно.

Мужское отделение было просторно, имело этикие бетонные столбы от потолка до бетонного же круга, куда ставили железные тазы, и с четырех сторон столба сияли латунные широкогорлые краны, выплескивающие как кипяток, так и ледяную воду.

Я был сосредоточен на своей идее, народу в помывочном зале присутствовало немного, на что я и рассчитывал, поэтому сложил в шайку все свое нуждающееся в стирке бельецо.

Я даже сам-то себя водой не облил. Наполнил таз водой и стал драить куском хозяйственного мыла свои трусы, майки, носки. Стесняться и таиться я не собирался, потому что не видел в своих действиях ничего греховного, напротив, даже внутреннее изумлялся своей находчивости.

В другом конце зала поливался какой-то старик. Еще один пристроился от меня невдалеке и чем-то так себя намылил, что походил то ли на гусеницу, готовую стать бабочкой, то ли какой-то мыльный кокон.

Он все тырился в мою сторону да намыливал себя.

И вдруг произошло непонятное. Сначала в раздевалке послышался какой-то топот, многоголосый шум, потом дверь в мойку распахнулась, и в нее посыпался голый молодой народ. Парни захватывали тазы, наливали воду, тут же обливались, весело матюкались, усаживались на лавку, и в три минуты помывочная стала походить на площадь, набитую парнями-голышами. Я сразу допер, что это солдаты, что их привели с утра пораньше по каким-то причинам, известным их командирам, скорей всего — пока гражданских нет. И все эти ребята были если и постарше меня, то на год от силы.

На длинной лавке со мной устроились два или три парня; глянув на грудку моего бельишка, спросили чуть ли не хором:

— Гражданский?

— Фэзэушник?

— Студент?

Пришлось кивнуть, а один из этих, стриженных на гладко, сказал назидательно другому:

— Вот видишь, рядовой Сидоров! Студенту придется самому бельишко в бане стирать! А тебе, барину, как выйдешь в предбанник, армия наша подаст свежие кальсоны! Живи да радуйся!

Ни до, ни после этой помывки я не слышал больше такого банного ликования. Вода лилась из многих кранов сразу, молодые голоса заглушали друг друга, шайки с грохотом летели на бетонные скамьи, словом, царило чрезвычайное оживление — и десятки, десятки молодых солдатских тел, совершенно одинаковых в своей наготе, оживленно передвигались по мойке. По-

жалуй, только по редким челкам можно было обнаружить старшин да сержантов.

И вдруг этот многолюдный зал замер.

Грохнула деревянная входная дверь, разрезая пространство, расталкивая руками молодые тела, возникающие на пути, шлепая калошами по мокрому полу, по мойке двигалась взлохмаченная, непричесанная и слегка горбатая старуха.

Она не смущалась множеством обнаженных мужских тел — похоже, много нагляделась, эта крючконосая старуха, сидящая в предбаннике на охране шкафчиков с бельем. Но сейчас она была зачем-то здесь, полна жуткой решимости и двигалась — я понял это не сразу — ко мне.

— Ты что делаешь? — крикнула она, приблизившись. — Правил не читал?!

С каждым ее выкриком я вздрагивал не столько от испуга, сколько от полной неожиданности.

— Здесь баня!

Я согласно кивнул: конечно.

— Здесь не прачечная!

Я снова кивнул.

— Прачечная за углом! Выходи! — воскликнула в конце всклокоченная старуха. — Будет протокол.

Ударение она поставила на первом слоге, и я, конечно, сызмала знал, что это неправильно. Но теперь неверное ударение прозвучало уже почти как приговор.

Я был раздавлен. Но сначала-то все-таки сильно смущен. Ну да и как должен чувствовать себя семнадцатилетний и совершенной голый человек любого звания перед всклокоченной, крючконосой, страшноватой старухой в помывочном зале городской бани? Да еще и в десять часов утра?

Однако ко мне пришла помощь. Совсем нежданная и удивительная. За меня вступилась армия, черт меня, штатского, подери!

— Эй, бабуля! — крикнул вдруг тот, что про кальсоны объяснял. И видя, что она на него не глядит, громко хлопнул о лавку железной шайкой. — Эй!

Только тут она к нему оборотилась.

— Не видишь! Это — наш! Не трожь его! Его только что направили! Ему еще белье не положено. Это наш младший командир!

— Э! — вызверилась беспощадная старуха. — Таких командиров не бывает! Чтоб стирал в бане! Салага, а не командир.

Да уж, старушенция разбиралась в голых парнях, могла отличить командира, пускай самого младшего, от салаги.

Но тут вся солдатская команда взяла меня под свое покровительство. Кто-то засвистел, и его охотно под-

держали, кто-то забил шайками о бетонные лавки, и получался барабанный бой. Кто-то заорал — весело, опять же с матерком, и старуху забила эта шумовая какофония.

Она развернулась и зашлепала обратно, даже, поскользнувшись в своих калошах, попробовала упасть, но голые молодые ребята бережно подхватили ее и проводили до самой двери.

— Ты погоди, — повернулся ко мне мой защитник, — мы сейчас пойдем все вместе одеваться! А то ведь эта карга еще тебя заключет!

Он помог мне выжать из моего белишка воду, выкрутить его почти досуха, я под боевым прикрытием вышел в раздевалку, сунул мокрое барахло в свой чемоданишко, упаковав в газету, стал оглядываться, чтобы хоть как-нибудь поблагодарить сочувствующего солдата, но никак мне это не удавалось. Одинаково голые превратились в одинаково белых — кальсоны и рубахи одинакового покроя, а потом в одинаково зеленых — у всех похожие гимнастерки, сапоги, пилотки.

Так я и не поблагодарил своих защитников. Одевшись почти враз, все затопали сапогами и стали выходить из предбанника. Мой штатский вид, конечно, выдавал меня, но я спокойно миновал всклокоченную старуху, сидевшую за столиком при входе. И она увидела меня. И я вежливо попрощался с ней, кивнув. И что удивительно, она ответила мне тем же.

Видно, не решилась противиться силе.

13

Конечно, я ругал себя. Не так, чтобы уж очень сильно, но все же. Ну, сэкономил я, допустим, рублей десять или даже пятнадцать. И это, предположим, актив. Правда, вернувшись домой, обнаружил, что чемоданишко мой изнутри совсем промок и требует отдельной сушки — это раз. Два — снисходительный взгляд из кухонного окна Анапы, когда я развешивал на веревке свои тряпушки — дескать, ну и стал ли ты богаче? А три — это уют, который все равно я попрошу у Анны Павловны, потому что если еще носки и трусы можно натянуть на себя не глаженными, то с рубашками такое изобретательство не пройдет. Ну и, конечно, целый день потерял — и даже не в прогуле дело, а в том, что оказался со своей стиркой-мывкой совершенно одинок. Даже про баню, полную солдат, толком не расскажешь — из рассказа этого уйдет образ крючконосой старухи, толпа голых солдат и защита моей персоны, поскольку она совсем не героической для меня-то выходила.

Ну и поголодать пришлось. Вместо обеда у тети Дуся выпил я кружки три горячего чая и пару булок под него смолол — но это же не еда!

Я ложился на кровать, смотрел в потолок широко раскрытыми глазами, понуждал свою молодую голову что-нибудь придумать потолковее для улучшения собственной жизни и противления окружающей бедности, но ничего толкового не выходило.

Тогда я шагал по маленькой комнате, всего-то метров в десять квадратных. Но пространство занимали три кровати, стол, три стула и что-то вроде этажерки с книгами — не разойдешься, не разгуляешься и ответа методом шатания не найдешь.

Я сел за конспекты. По марксизму-ленинизму, конечно. Требовалось много всяких статей и работ прошудировать и выписать главное — это и называлось конспектированием. Нам обещали учитывать конспекты при зачетах, а то и экзаменах, таким образом — и очень даже эффективно — заставляя читать классику. Но у меня и раньше-то с этим туго получалось! Читал, допустим, Карла Маркса про 18 брюмера Луи Бонапарта, и ни один из них мне в голову не лез — ни Луи Бонапарт, ни брюмеры, ни даже — грешно признаться, сам Карл Маркс. Чего-то он все бранил этого Луи, черт бы их побрал всех, вместе взятых. Но! Такого ведь вслух не произнесешь — это-то мы твердо знали! Могут еще и зачислить неизвестно куда — в антимарксисты, не приведи бог, или просто в дураки. Уж совсем глухое болото!

Карл Маркс, не будем про остальных, конечно, гений, никуда не денешься. И разоблачал капитализм, без сомнения. Но капитализм — это когда одни богатеют, а

другие беднеют. У нас — другая формация, и богатых нет. Значит, беднеют все. Но где то самое богатство, которое у капиталистов есть, а у нас его нет?

Конечно, вполне понятно, была война — и в этой войне погибло все богатство, которое можно было людям как-то дать. И теперь-то у нас понятная всеобщая бедность — вот бельишко приходится в бане стирать, — потому что все идет на ремонт после войны. На стройки. Зато в будущем-то все это вернется ко всем к нам, и нечего тут ныть — все в будущем! Ясно как день! Накопление народных богатств произойдет постепенно! И при чем тут Карл Маркс, 18 брюмера, Луи Бонапарт, неизвестно. Ну нет, конечно, из уважения к Карлу Марксу это все можно и законспектировать, тем более что деваться некуда! И я сел за стол, начал читать и переписывать чужие выражения в свою тетрадку, чтобы — что?

Я вздыхал, глядел невидимым взглядом на свои трусы и майки за окном, совсем окостеневшие от мороза! И противоречия, которые я никак не мог сформулировать, томили меня.

Чувствовал только одно, мне вполне понятное: надо что-то делать самому! Чего-то добиваться! Искать выход!

Да и то — пять лет учиться на журналиста, пять лет ждать от мамы переводов два раза в месяц! И пять лет стоять в очереди к тете Дусе, думая, как хорошо, что она есть! А если не станет?

Продолжение следует.

